

Диалог



Оставшись один, я связался со Снаутом и мы договорились, не откладывая, встретиться в столовой. Когда я туда спустился, Снаут, освещенный низким солнцем Соляриса, сидел с отсутствующим видом за столом и смотрел в направлении ближайшего иллюминатора. Он был все в том же вылинявшем свитере, потрепанный вид которого усиливал выражение усталости и обреченности, поразившее меня в первый день знакомства с ним. Однако сейчас на его узком худом лице замерла странная усмешка — похоже было, что последние часы он провел более продуктивно, чем я. Наблюдая эту улыбку, подчеркнутую вечерними тенями, я вдруг вспомнил его прозвище — Хорёк.

Пока я размещался за столом, Снаут, казалось, не замечал меня, но как только я сел и попробовал поймать его взгляд, он тут же очнулся и, повернувшись ко мне, спросил:

— Сколько времени в твоём распоряжении?

Мне не потребовалось уточнений, чтобы понять, о чем идет речь.

— Думаю, что до полуночи я сам. Полагаю, как и ты?

Снаут быстро кивнул, как бы ставя на данной теме точку, исключаящую ее дальнейшее развитие.

— Вполне достаточно. Наш разговор долгим не будет, и после него у тебя останется достаточно времени... — он на секунду прищурился, глядя на меня так, словно видел впервые, затем продолжил уже другим тоном: — Если не ошибаюсь, в прошлый раз мы остановились на кризисе в соляристике.

Я машинально кивнул, понимая, что хотя эта тема не была последней среди обсуждавшихся, Снауту по каким-то причинам удобно использовать ее как отправную точку.

— И я тебе тогда сказал, что причина этого кризиса в том, что человечество изначально выходило в Космос не для того, чтобы обнаружить что-то иное, непохожее на нас или нашу среду обитания, а в поисках вариантов себя самого и своей родной планеты... Чего, впрочем, мы никогда и не отрицали. самого главного я тогда тебе сказать не успел: людей интересует не всякая разумная деятельность, но лишь та, которая подходит под наше собственное определение Разума. Вот об этом мы уже предпочитаем умалчивать. Мы не знаем или не хотим знать никакого иного разума, кроме

собственного, потому, что в основе всех наших представлений о нём лежит один лишь человеческий опыт — опыт коммуникативных животных. Однако то, что нам открылось на Солярисе, заставило нас расстаться с наивной верой в то, что все носители разумной функции обязаны находить взаимопонимание. Этот факт настолько разрушает наши привычные представления о самих себе и о Разуме вообще, что кое-кому оказалось легче расстаться с жизнью, чем принять его...

Наверное, при этих словах Снаут, как и я, вспомнил про Гибаряна. После едва заметной паузы он продолжил:

— На самом деле это очень непросто — отказаться от веры в то, что различные мыслящие существа обязаны искать взаимопонимание, упорядочивая собственные системы мироощущения друг с другом... Мы полагали, что это универсальный закон и всеобщая потребность, не замечая, что экстраполируем на всю окружающую природу свой собственный опыт. Единственный доступный нам опыт социальных животных, восприимчивых к разуму...

Похоже, на моем лице отразилось то, что я хотел ему на это ответить, потому что Снаут предостерегающе поднял свою сухую ладонь и пояснил:

— Видишь ли, Кельвин, мы все подходим к океану Соляриса как к ноосфере — то есть оцениваем его не просто с антропоцентрических позиций, но еще и в рамках наших — сугубо человеческих — представлений о "разумной деятельности" и "разуме" вообще. Для нас, убежденных картезианцев, разум — это свойство живого существа, обладающего своим "Я". Хотя лично я сомневаюсь, что когда старикан Рене формулировал свою мысль, он задумывался о всем том возможном многообразии форм и направлений, которые во Вселенной может принимать рациональная активность... И уж точно он, дуалист, не предполагал, что элемент "Я" в ней вторичен и даже необязателен — и это несмотря на то, что он сформулировал хороший тезис о важности сомнения: для людей и про людей.

— *Dubito ergo cogito...* — подхватил я, давая понять, что мысль схвачена.

— *...cogito ergo sum*, — закончил Снаут. — К сожалению, все эти красивые фразы применимы только на поверхности нашей Земли. За ее пределами они оказываются столь же неуместны и даже опасны, как... как, скажем, домашняя пижама в открытом космосе. Либо ты меняешь ее на вакуумный скафандр, либо... — он закончил фразу выразительным жестом. — Беда в том, что человечество решило в этой пижаме наносить визиты по всей галактике... Неудивительно, что первая же встреча повергла нас в гносеологический шок. — его голос затихал, превращаясь в бормотание. — Мы полагали, что всего лишь нарушили какой-то дресс-код, однако на самом деле... — он замолчал и опять уставился в иллюминатор.

Я догадался, что Снаут ходит кругами, не приступая к главному, потому что сам еще не знает, как выразить то, к чему пришел в ходе своих размышлений. Поэтому, не дожидаясь очередной метафоры, я спросил:

— Но почему именно Солярис?

Вероятно, это прозвучало слишком резко, потому что он тут же повернулся ко мне и произнес тихим ровным голосом:

— Потому что мы приписываем океану сознание, в котором он абсолютно не нуждается и которого у него нет — вне зависимости от масштаба и сложности тех искусственных явлений, которые он предоставляет в наше распоряжение, начиная симметриадами и заканчивая регуляцией собственной орбиты. Можешь сюда добавить также феномен гостей... кстати, я бы не рискнул утверждать, что это явление для самого океана относится к иной категории активности, чем, например, те же манипуляции с гравитационным полем обоих своих солнц.

— Но нам совсем не обязательно опираться на тезис наличия сознания у океана!

— Нам это удастся лишь до тех пор, пока мы его деятельность не рассматриваем как разумную. Пойми, Кельвин, именно здесь наша пижама трещит по всем швам — как только мы пытаемся поместить в единственно доступное нам представление о разуме такую рациональную деятельность, которая лишена всех привычных нам атрибутов. Атрибутов, составляющих для нас главную ценность и являющихся стержнем нашей онтологической самоидентификации. Да, именно так — главную ценность...

Снаут не повысил голоса, однако нажим в его интонации свидетельствовал о том, что внутри его какие-то струны натянуты да предела. До меня дошло, что в другой ситуации он бы уже сорвался, если бы... если бы не труп Гибаряна в морозильнике. Возможно, ему этот разговор был нужнее, чем мне — похоже, его давил какой-то груз, что-то слишком большое и тяжелое для того, чтобы его можно было держать внутри одного человека.

— В конце концов, для успешного функционирования рационально действующему агенту совершенно не обязательно обладать сознанием. В отличие от нас, стайных животных, океан никогда не знал никакого другого, за всю свою эволюцию ему не потребовалось формировать сам концепт иной мыслящей сущности. Подозреваю, что на его языке — если бы у него был язык — это было бы тройной катахрезой. Я вполне допускаю, что его уровень организации исключает само членение на субъект и объект. Для него все происходящее — часть единого целого, и с этой точки зрения те манипуляции, которые он производит с орбитой своей планеты, являются чем-то вроде внутреннего механизма поддержки гомеостаза, аналогом парасимпатической системы на космическом уровне. Допускаю также, что и нас с тобой он воспринимает не как отдельные от себя субъекты, сопоставимые с собой — поскольку его смысловое пространство лишено понятий "я" и "другой". Мы для него — не более чем странный феномен, опухоль, новообразование, природу которого он пытается интегрировать в свои механизмы саморегуляции. Точно так же он реагировал бы на, скажем, внезапную тектоническую активность внутри своей мантии... хотя, насколько нам известно, она давно уже находится под его полным контролем. Природа феномена, который представляет из себя Станция с нами внутри, требует от него нового подхода. И вот вам — гости. Для нас эти гости — нечто из ряда вон выходящее, апеллирующее к очень личностным понятиям, лежащим в категориях ментальной или социальной области: "совесть", "культура", "человечность" и так далее. Однако, если бы мы проявили хладнокровие, как к этому, кстати, постоянно призывает наш милейший Сарториус, мы бы поняли, что и гости, и мы сами, и вся Станция и оба солнца Соляриса — не более чем элементы уравнения, решаемого океаном. Для нас овеществление наших ментальных образов — человеческая трагедия. Как минимум мелодрама. Отсюда — чисто человеческие реакции: слезы, сопли и прочие выделения. А он всего лишь перебирает константы. Мы же, вместо того, чтобы понять это, продолжаем держаться за свою домашнюю пижаму, упрямо наделяя внесознательную рациональную деятельность океана привычными нам атрибутами сознательных интенций.

Снаут сделал паузу, прикрыв на секунду глаза обожженными веками, затем метнул исподлобья испытующий взгляд и продолжил:

— Да, знаю, ничего нового ты сейчас не услышал. Эти проблемы начались ещё до обнаружения Соляриса, и даже задолго до выхода человека в космос. Всю свою жизнь человечество использовало навыки установления контакта с себе подобными, оттачивая паттерны нахождения взаимопонимания. Мы никогда не ставили под сомнение важность этой задачи — в поведении любого социального животного она всегда имела статус исходного постулата: каждое разумное существо должно уметь находить контакт с другим разумным существом. Мы никогда не задумывались о том, что в этом

утверждении одни условности и имплицитные допущения. В сущности, наши представления о Разуме оказались замкнуты на самих себе. Стоило нам открыть Солярис, как вся их ущербность стала для нас очевидной — со всего нашего экспансионистского разбега мы уткнулись в стену, которой сами же отграничили себя от Природы.

— Почему ты не хочешь допустить, что океан просто игнорирует наши намерения, как утверждал Дю Хаарт? Его теория сознания океана...

Услышав это имя, Снаут разозлился, не дав мне закончить фразу.

— Дю Хаарту следовало бы ограничиться этологией приматов и не поднимать глаз выше деревьев, с которых они слезли! Ни игнорирования, ни интереса, ни тем более агрессии океан не выражает, поскольку выражать их изначально не может — и не испытывает в этом никакой потребности. Все эти понятия взяты из пространства человеческих представлений, это наш местечковый набор элементов активности животных, в поведении которых мы каких-то жалких пару тысяч лет наблюдали следы рациональности — как мы сами ее понимаем. А между тем океан даже не вычленяет наше присутствие из всего того, с чем он привык иметь дело. Для него мы — не часть дискретного окружения, в его мире мы — такая же часть его самого, как и прочая природа, как и то, что сейчас находится под Станцией и над ней — как он сам. "Себя" он "игнорирует" точно так же, как и нас, потому что лишен какого-либо представления о себе — и не потому, что он глупее нас (он уже доказал нам обратное, и, уверен, еще не раз сделает это), но лишь потому, что никогда не был поставлен перед необходимостью создания концепта "Я" и выработки механизмов регулирования отношений между этим "Я" и чем-либо другим. Он не знает, что такое "социум мыслящих существ", у него нет даже самого понятия иного, ему совершенно незачем заботиться об установлении контакта с каким-либо "кем-то", поскольку даже самого себя он не вычленяет из всего, что есть, из Природы как таковой.

Я чувствовал, что главное уже сказано, но все еще не понимал причину беспокойства Снаута.

— Именно в этом, Крис, заключался самый болезненный удар для нас всех. Странно, что ты, психолог, не понял этого до сих пор. Перед океаном никогда не возникало потребности расходовать свои силы на то, на что млекопитающие потратили миллионы лет, оттачивая столь важную для них коммуникативную функцию, создавая речь, письменность, культуру и все остальные костыли, без которых невозможно существование множества разумных животных, объединенных в трибы. Ты только представь — вся наша деятельность, направленная на поиски взаимопонимания разнообразных носителей Разума, в одночасье перестала быть великим достижением цивилизации, выпестованным и отшлифованным за счет невероятных усилий и жертв среди бесценных самосознающих единиц, оказавшись всего лишь рудиментом, вынужденным приспособительным механизмом, своего рода рыбьей чешуей, обусловленной особенностями среды обитания, видовой морфологией и тому подобными ситуативными факторами развития. Пробило полночь — и лавры венца эволюции превратились в костыли недоношенного уродца.

Пока Снаут делал паузу, освежая горло глотком воды, я пытался обдумать услышанное. С одной стороны, ничего кардинально нового я не услышал. Но то, как Снаут это преподносил... Я решил пока ограничиться нейтральным ответом:

— По-моему, идея, о которой ты говоришь, уже когда-то звучала — разум вне института цивилизации...

Снаут, прищурившись, посмотрел на меня левым глазом сквозь пустой стакан. Похоже, он видел мою растерянность и она его забавляла.

— И да, и нет. Вне цивилизации — согласен, поскольку она может быть представлена только множеством конгруэнтно мыслящих единиц. Но здесь неуместно само понятие "мышление", поскольку

в нашей трактовке этого термина слишком много человеческого, слишком много от приспособляющейся обезьяны. Ты ведь не приспособляешься к своему телу? Ты просто регулируешь процессы внутри себя — причем совершенно бессознательно. Океан сходным образом относится к окружающей его материи, к пространству и времени, которые входят в нерасчленимое общее с ним самим. Что здесь остается от примитивного представления о когнитивной деятельности, используемого видом, который всю свою эволюционную историю трудился над преобразованием враждебной среды в плодородные уголья, в промежутках занимаясь настороженным анализом соплеменников с целью разделения их на несговорчивых противников и контактных напарников?

Он махнул рукой в сторону иллюминатора:

— В сущности, океан Соляриса — это то воплощение идей мыслящей материи, органа разумной природы, о которой человечество сотни лет болтало разнообразный вздор... поскольку подразумевало при этом вариации мышления исключительно самого хомо сапиенса. Когда же это человечество столкнулось нос к носу с практически рафинированным представителем хрестоматийной строфы Вергилия: *mens agitat molem* — оно напрочь отказалось верить своим глазам. Еще бы — столько амбиций человека разумного тут же пошли ко дну, сколько самовлюбленных иллюзий утонуло в этой кровавой пене, сколько пафосной болтовни гуманистов заглушено немymi симметриадами! Как ты думаешь, что оказалось самым потрясающим для человека из всех фактов, узнанных в ходе изучения Соляриса? Не открытие его невообразимых возможностей, практический аспект которых превосходит наши технологии и фундаментальные представления о механизмах Вселенной. Не наша позорная импотенция в попытках навязать ему рукопожатие и усадить за стол переговоров. И даже не его унижительное игнорирование самого факта существования царей природы, вторгшихся в его систему. Все это — мелочи, ерунда... За всю свою историю человечество легко справлялось с подобными фрустрациями. Благо, у разумной обезьяны в наличии широкий выбор инструментария: от зачисления явления в разряд "стохастических природных процессов, не представляющих интерес" до ядерных бомбардировок в планетарном масштабе. Любой из этих вариантов может быть рационализован и обоснован таким образом, что ни наше самолюбие, ни наша так называемая Великая Миссия, ни наша совесть не пострадают. И если бы дело было только в этом, не сомневаюсь, так бы и поступили. Причем задолго до твоего прибытия сюда. Однако все намного хуже... И я даже не знаю, кого это больше коснется — тех, кто находится за пределами Земли, или тех, кто остался на ней.

— Даже так?

— Да, Крис...

Снаут медленно повернул голову к багровому окну и я машинально проследовал глазами за его взглядом. С этого ракурса океана не было видно, даже сам горизонт скрывался за нижней кромкой толстого стекла иллюминатора, но меня не оставляло ощущение, что он — здесь. Океан был не за окном — он был внутри станции, он присутствовал в столовой, он даже ощущался внутри меня самого. В другое время и в другом месте я бы назвал это ощущение предвестником паранойи, но сейчас — странное дело! — слушая Снаута и начиная его понимать, я не испытывал беспокойства от этого присутствия. Скорее, оно, если можно так выразиться, как-то дополняло то, что он пытался мне объяснить.

— На Солярисе нас ждало самое ужасное открытие, которое человек ни разу не сделал за всю историю своей цивилизации и которое надеялся не сделать никогда: здесь, на станции, для *homo sapiens* стало ясно, что все его замечательные человеческие достижения не стоят ломаного гроша, что вся человеческая культура, построенная вокруг потребности регулировать взаимоотношения между носителями разума — сущая ерунда, сентиментальная чушь облысевшего примата. Мы вдруг увидели,

что сама эта наша потребность поисков взаимопонимания — совершенно не обязательна для того, чтобы быть представителем рационального начала, агентом познания, подчиняющим себе природу и живущим с ней в куда большей гармонии, чем на это способен так называемый Человек Разумный...

Снаут вдруг сильно зажмурился, словно его ослепили теплые сумеречные отблески солнца, затем отвернулся от окна и, широко раскрыв глаза, глядя прямо на меня, отчеканил:

— Кельвин, на Солярисе с человека не только содрали шелуху антропоцентрической спеси, вместе с ней мы лишились значительной части нашей экзистенциальной опоры. Можно сказать, что мы не просто утратили веру в собственную миссию, но возможно и весь смысл нашего...

— Погоди... — перебил я его. — О какой миссии ты говоришь? Покорение природы?

Он небрежно махнул рукой:

— И эту тоже. Но в первую очередь — миссию познания, миссию носителей всемогущего Разума, который — как мы наивно полагали — нашими усилиями будет расширяться по галактике, ассимилируя родственные очаги когнитивной активности... Прекрасная цель, не так ли? Благородная, почетная и весьма прибыльная, чего уж там скрывать... И тут вдруг выясняется, что в природе существуют такие механизмы ее самоотражения и самоорганизации, которые в сравнении с разумом млекопитающих куда более функциональны, гармоничны и органичны... Наш прославленный путь эволюционного биологического авангарда оказался позорной болотной возней конкурирующих многоклеточных организмов! Это болото представлялось нам бескрайним морем, но на самом деле оказалось локальной лужей, за пределами которой никто не ценит умение фильтровать мутный ил в поисках пищи или высматривать сквозь него своих сородичей — в ходе удовлетворения так называемой жажды понимания.

— Однако, в этом, как ты говоришь, болоте, родилась целая цивилизация, которая вышла в космос и которую мы с тобой представляем на этой Станции. Не каждое болото может похвастаться чем-то подобным!..

— Да неужели?! — тут же подхватил Снаут, показывая большим пальцем назад, на иллюминатор.

Я замолчал. Снаут усмехнулся и продолжил:

— Цивилизация, Кельвин... Любая цивилизация имеет ценность лишь в том аксиологическом пространстве, которое она создает внутри себя. И для себя. Это хрестоматия. Но что происходит с этими её ценностями, когда она обнаруживает феномен или явление, нивелирующие все её достижения — все то, чем она так гордилась, всю её восторженность, гордость собой и почтение к собственным целям, причем — опираясь на те же критерии, которые сама эта цивилизация поставила во главу угла? Нам теперь остается или превратиться в расистов-догматиков, утверждающих: "Нет иного Разума, кроме разума млекопитающих, и Homo Sapiens — пророк его!", или смириться со своим жалким местом в эволюционном болоте... Третьего варианта нет — океан не будет контактировать с нами, и причина этого — не в злой воле (ах, если бы это было иначе — как бы это все облегчало!), а лишь в том, что наша потребность в контакте — это не более чем внутренние проблемы человека. Нечто вроде потребности диабетика повсюду искать инсулин, потому что без него он нежизнеспособен. Можно ли считать виртуозное владение костылями искусством, достойном гордости и проведения тренингов во вселенских масштабах? А культуру, основанную на беге в мешках по беговой дорожке эволюции? Иди и попробуй объяснить океану высокое моральное содержание оборота: "подать немощному стакан воды".

Снаут оттянул ворот своего свитера — похоже, ему было жарко.

— Именно это открытие привело к тому, что проект Солярис был позорно свернут и предан забвению. Я тебе недавно говорил, что если бы вид *homo sapiens* обладал более развитым чувством юмора, до этого бы не дошло. Всю историю своего развития человек был слишком доволен самим собой, потому что все, с чем он мог себя сравнивать, было еще примитивнее, чем он сам. Нашему виду катастрофически недостает самоиронии, Крис! Ты полагаешь, в академии на Земле мучаются вопросом: что делать с Солярисом? Да им на него уже давно наплевать! У них теперь совсем другая забота — они не знают, что делать с самим человеком! Сарториус еще не успел поделиться с тобой статистикой звездных полетов? Спроси его, узнаешь много интересного. Несмотря на то, что Станция находится на дальней периферии, информационные каналы у нас в полном порядке, хотя пропускная способность оставляет желать лучшего. В общем, держать руку на пульсе мы еще можем. Так вот, он запросил данные интенсивности запусков экспедиций за последние десять лет, а также статистику всей активности в аспекте освоения Пространства. Затем эти полученные кривые, каждая из которых неуклонно снижалась, наложил на даты публикаций наиболее обстоятельной аналитики в соляристике и связанных с ней темах... Думаю, ты уже понял — какую корреляцию он обнаружил. Но Сарториус — математик и физик, ему достаточно соотношений между числами. Я же тебе скажу как кибернетик — то, что с нами случилось на Солярисе, нас ждало в любом другом месте. Удивляться надо не тому, что это случилось здесь, а тому, что мы до сих пор не сталкивались с этим раньше. Впрочем, сейчас я начинаю понимать, что почти наверняка — сталкивались. И не раз. Но мы даже понять этого не могли. Солярис — тот редкий счастливый случай, когда даже самовлюбленной ограниченной обезьяне становится понятно, насколько она примитивна. И насколько это обусловлено именно тем, что она — обезьяна. Множество других случаев, менее счастливых для нее, поскольку они более сложны для понимания, прошли мимо ее сознания. Полагаю, за последние годы на Земле к этому выводу пришло достаточное число авторитетных людей, потому что, как тебе известно, на сегодняшний день программа освоения космоса практически свернута...

Вернувшись в свою каюту после разговора со Снаутом, я стоял перед иллюминатором, наблюдая алый закат второго солнца Соляриса и ощущая двойственные чувства по отношению к предстоящему ночному возвращению моей Хари. Если раньше я воспринимал ее инструментом, которым океан безжалостно копается в моей психике, то сейчас, после этой беседы, я ощущал себя одним из его органов, его частью — а сама Хари из холодного скальпеля становилась той нитью, которая связывала меня, одинокое живое существо, всю свою жизнь обреченное пребывать в тюрьме собственного локального мирка, с ним, с разумной материей, с самой Природой. Я начинал понимать, что был связан с океаном с первого же момента своего появления на Станции... и может быть даже еще раньше. В конце концов, океан Соляриса — такой же инструмент, при помощи которого Природа решает задачи, не имеющие ничего общего с теми проблемами, которые стоят передо мной, перед людьми на Станции и даже перед самим океаном. В этом статусе мы с ним оказывались на равных, и все остальное уже было несущественно. Меня не задевал тот факт, что океан это понял много раньше меня, представителя расы млекопитающих, обладающего никому не нужными навыками понимания, наделенного смешными нормами, называемыми моралью и культурой, и мучающегося от химер типа “совесть”, “долг” и прочей сентиментальной чепухи, прилепившейся к его мироощущению в течении долгого периода выживания в среде себе подобных...

Мне даже казалось, что если бы Снаут, которому я был благодарен за нашу беседу, был менее сосредоточен на эмпатическом шоке, вызванном у него переживаниями за судьбу земной цивилизации и самоидентификации Человека, он бы принял в себя ту идею, к которой подвел меня самого. Думаю, сам он уже давно спал, переложив на меня часть груза, который для него одного был слишком

тяжелой ношей... и наверняка облегчив оставшуюся часть при помощи своих запасов спирта. Но я уснуть не мог. К полуночи, почувствовав сухость в горле и вспомнив, что в холодильнике должен еще оставаться фруктовый концентрат, я вышел в коридор. Однако вместо свежего глотка воды меня ждал холодный душ.

На кухне горел свет. Я едва успел подумать, что Ирка, ложась спать, опять забыла его выключить, когда вдруг обнаружил, что на матовое стекло двери изнутри брошен контур сидящего человека. Небрежная поза, в которой он развалился за столом, своей абсурдностью ужаснула меня больше, чем его появление — в моей квартире, на кухне, в полночь. Естественный испуг еще не успел пройти, а на его место уже волной накатывался внутренний вопль: "Неужели опять?! Но почему?.."

Я распахнул дверь, едва не сорвав ее с петель, и вторая волна шока остановила меня на пороге — на стуле, вытянув свои длинные ноги до середины кухни, торчал Вечеровский. Собственной персоной.

— Фил?! Откуда... — не договорив, я прислонился к дверному косяку, ощущая потребность в дополнительной опоре.

— Здравствуй, Дима. Кофе? — и он сделал пригласительный жест левой рукой, показывая на лаконично сервированный стол.

Зрительный шок постепенно проходил, уступая место другим ощущениям. До меня донесся аромат свежесваренного кофе. По-венски. Я буквально на ощупь плюхнулся на стул, не в силах оторвать взгляд от Вечеровского.

Фил мало изменился сам, разве что рыжая шевелюра стала заметно короче, а лицо худее. Роговая оправка очков сменилась на узкую металлическую, лишавшую его вислый нос бывшего аристократического налета, но усиливавшую аскетичную деловитость. Наибольшие изменения произошли в одежде Вечеровского — вместо привычного элегантного костюма на нем красовались растянутые джинсы, в которые была небрежно заправлена белая футболка с контурным изображением какого-то мотылька. Можно было бы подумать, что Филипп Павлович по-домашнему заскочил к соседу по лестничной клетке... если бы аристократичного Вечеровского вообще можно было представить в потертых джинсах и футболке с принтом. И если бы он не исчез бесследно более двух лет назад.

Я аккуратно затворил за собой дверь, вспомнив об Ирке, которую мне удалось не разбудить, пока я выбирался из постели. И тут же пространство кухни странным образом замкнулось само на себя — я ощутил, что мы с Вечеровским остались совершенно одни: исчезли все посторонние звуки, пропало вечное бубнение телевизора у соседей сверху, а стекло ночных окон превратилось в абсолютно черное зеркало, в котором отражались: странный Вечеровский в затертых джинсах, готовый сойти с ума Малянов (в трусах и майке) и кухонная обстановка, которая из-за своей заурядности и привычности казалась особенно нелепой в общей картине.

Без сомнения, догадавшись о мыслях, которые занимали меня в этот момент, Вечеровский сказал:

— Мы можем спокойно беседовать столько времени, сколько нужно, без опасений, что нас услышат.

Я уже успел достаточно успокоиться и прийти в себя, чтобы ответить на это:

— Полагаю, спрашивать тебя о том, как ты здесь оказался, бесполезно.

Вечеровский улыбнулся:

— Только потому, что есть более важные вопросы, чем этот.

Здесь он был прав — были и другие вопросы. Вопросы, которые уже больше года не давали Малянову покоя. И тут я внезапно понял, что все это время жил в надежде на эту встречу, в ожидании этого разговора, продолжая верить в то, что Вечеровский обязательно вернется или, как минимум, даст о себе знать... Впрочем — нет, даже не о себе. Я понял, что ждал этой встречи для того, чтобы еще раз коснуться тех событий, которые произошли два года назад, которые полностью изменили мою жизнь... не позволив ей измениться. И после которых Фил почти сразу пропал, не напоминая о своем существовании до сегодняшней ночи. Долгое время я был уверен, что все осталось позади и итоговая черта подведена... и до сих пор помню то амбивалентное чувство облегчения пополам со стыдом, которое мне довелось пережить в первые дни после принятия своего решения. Я не служил в армии, однако иногда казался себе солдатом, выбравшимся из окружения и дошедшим до своих в тылу, но бросившим за полосой обороны все, что было дорого — свое оружие, тактические карты, планы наступлений, веру в победу...

Конечно же, стыд прошел первым — я достаточно легко рационализировал выбор, который совершил, отдав свою работу Вечеровскому — как это незадолго до меня сделали Глухов, Вайнгартен и Губарь (а также, подозреваю, немало других капитулянтов). Удовлетворенность от исчезновения страха за себя и своих близких держалась намного дольше — и за это я был бесконечно благодарен своему тылу — моей Ирке, проявившей замечательную чуткость и понимание. Когда надо, она всегда была рядом, поддерживая правильность моего выбора, подтверждая каждым своим взглядом и жестом, что семейные ценности превыше интеллектуальных дерзновений и претензий на поиски абстрактных истин... Однако в конце концов эти ощущения также сошли на нет — и передо мной потянулись те самые кривые глухие окольные тропы, о которых предупреждал меня Фил... Впрочем, они не были ни глухими, ни кривыми. Я бы даже сказал, что это была пестрая магистральная дорога, по которой я шествовал с миллионами таких же, как я — разве что с несколько меньшим воодушевлением, чем остальные. Похоже, большинство из них никогда не стояло перед выбором, который встретился на моей пути, и поэтому не мучилось комплексом вины несостоявшегося героя. Не знаю. И не хочу знать.

Тем не менее, чем дальше шло время, тем сильнее во мне звучали последние слова Вечеровского. Поначалу я думал, что это просто воспоминания о старом друге, который исчез при довольно мрачных обстоятельствах. Но затем все чаще стал ловить себя на мысли, что желаю не просто увидеть его — мне хотелось задать ему вопросы, которые в последнее время начали неотвязно преследовать меня. Вопросы, которые я когда-то поклялся никогда больше себе не задавать.

Теперь Вечеровский, облаченный в свою странную футболку, сидел передо мной, смакуя кофе, непонятным образом заваренный на пустой кухне, и весело глядел на меня своими рыжими глазами. А я при этом чувствовал, как улетучиваются жалкие остатки моего довольства своей спокойной жизнью, оставляя на своем месте непонятный вакуум, чем-то напоминающий жажду.

Никаких вопросов задавать мне не пришлось. Едва я опустил губы в кофе, собираясь с мыслями и раздумывая над подходящей формулировкой, как Вечеровский решительным жестом отставил свою чашку в сторону и заявил:

— Логично предположить, что тот, от кого ожидают получить некоторые ответы, догадывается и о самих вопросах, которые ему могут задать. Поэтому, надеюсь, ты не станешь возражать, Дима, если я возьму инициативу на себя?

Что в этом рыжем осталось неизменным, так это его поразительная способность помещать своего собеседника в унижительное положение ведомого, чьей единственной задачей было не

отставать от полета мысли долговязого маэстро. Я кивнул головой без тени досады — сейчас эта роль меня более чем устраивала.

— Вначале, для того, чтобы сразу закрыть эту тему, пара слов о себе: все в порядке. Два года назад мне, как я и предполагал, удалось без труда устроиться на одну метеорологическую станцию — достаточно отдаленную, чтобы спокойно заняться там вопросами... из-за которых я там оказался. Так что...

При этих словах наш последний разговор всплыл в моей памяти с такими деталями, словно он состоялся только вчера. Однако кое-что не складывалось.

— Далекую? В каком смысле? — перебил я его. — Не ты ли утверждал, что играть в прятки с самой Природой бессмысленно, и что от ее законов укрыться невоз...

Договорить он мне не дал. Я даже не подозревал, что так соскучился по этому плотоядному марсианскому уханью, заменявшему Вечеровскому человеческий смех. Отсмеявшись, Фил посерьезнел и ответил:

— Извини, Дима... События, случившиеся тогда, застали всех нас врасплох, поэтому неудивительно, что в своих попытках дать им какое-то рациональное объяснение мы нагромодили массу вздорных идей. И я в том числе. Конечно, моя гипотеза о Мироздании, отчаянно защищающем форпост своей стабильности от победоносно наступающего разума, авангард которого, конечно же, представляет человек, а конкретно — мы с тобой, была получше вайнгартеновской версии о ревнивой и завистливой сверхцивилизации... Однако, в сущности, являлась глупостью одного с ней порядка, поскольку обе содержали слишком много человеческого, следовательно — животного.

Малянов, замирая в неприятном предчувствии и отказываясь в него поверить, медленно произнес:

— Если это не Природа и в ее основе нечеловеческое... значит это все-таки какая-то посторонняя сила? Неужели это... — он остановился, не договорив, потому что ему вдруг пришло в голову, что через мгновение Вечеровский может превратиться в Мефистофеля. Ну или, как минимум, в Коровьева с треснувшим пенсне.

Вечеровский поморщился, видимо, угадав мои мысли:

— Отнюдь нет. Как раз здесь я оказался прав: только природа и ничего, кроме нее. *Natura naturata*, как говорится — природа природствующая. Ошибка моя была в другом. Мы слишком свыклись с парадигмой бесконечной борьбы за свои жизненные блага. Мы никак не можем расстаться с этим подходом, доставшимся нам в наследство от наших хвостатых предков. Наш разум, как, вероятно, любой разум в определенной фазе своего развития, все время учился только тому, как наиболее эффективно рассеивать энергию, производить энтропию — это неизбежное следствие его применения в качестве инструмента приспособления и выживания. Однако это не единственный путь. Природа совершенствует свое многообразие лишь тогда, когда Разум не ограничивается эксплуатацией имеющихся законов, но помогает создавать новые. А новые законы это всегда новые принципы концентрации энергии, новые формы ее выражения — которые, в свою очередь, будут использованы уже следующим поколением действующих агентов... Именно этому принципу подчинено все развитие Мироздания — не фиксация на каком-то одном уровне структурной сложности, не ограничение разума в его борьбе со следствиями термодинамики, не препятствование тем или иным его попыткам разобраться в нюансах природных механизмов, но — стимулирование и сосредоточение векторов его активности на том единственном направлении, в котором у природы есть перспективы развития, становления, структурной диверсификации.

Изложив это отлаженной скороговоркой, словно вещая со своей университетской кафедры, Вечеровский сделал унижительную паузу, давая аудитории время на осмысление услышанного, и затем продолжил:

— Помнишь, мы с тобой не раз спорили по поводу теории Пригожина относительно самоорганизации диссипативных структур?

Малянов кивнул и, чувствуя себя студентом, пытающимся щегольнуть перед преподавателем своей сообразительностью, поспешил сказать:

— То есть ты хочешь сказать, что Мироздание нужно рассматривать как открытую структуру?

Чуть приподняв свои брови, Вечеровский посмотрел на Малянова так, как глядел всего несколько раз в жизни, и медленно, с уважением кивнул:

— Именно так. В самую точку.

Он помолчал и задумчиво добавил странную фразу, которую Малянов совершенно не понял:

— Теперь я уже вижу, что наша встреча не случайна. Но тебе еще только предстоит понять, насколько эта система открыта.

Вечеровский снял очки и хорошо знакомым мне жестом помассировал внутреннюю поверхность своих надбровных дуг, увенчанных рыжими кустами. Я подумал, что за этим действием последует появление его великолепной трубки с роговым мундштуком — и не ошибся.

— Мы полагали, что Мирозданию нужен стазис, забыв о том, что всё его существование — свидетельство прямо противоположной тенденции. Ему нужна не статичность, а балансирование на краю равновесия. Только так возможно любое развитие — понуждать себя искать новые решения, объявляя прежние наработанные паттерны устаревшими. Мироздание — оно же Природа — предоставляет нам то, что можно было бы определить как Систему Вызовов. В нашей группе также прижился такой термин: Пространство Вызовов.

Малянов обратил внимание на оборот "в нашей группе" — он означал, что Вечеровскому удалось установить контакты с единомышленниками, которые теперь вместе с ним противостоят сопротивлению Вселенной... Впрочем, теперь это уже было не сопротивление, а нечто совсем иное, чем можно и нужно заниматься, чему можно посвящать себя... Снова всплыло давно забытое чувство стыда, но лишь на мгновение, поскольку уже в следующий миг до него дошло, что если он сам и не входит в это общество, это все же не мешает ему сидеть сейчас рядом с Филом, как это было два года назад, как будто ничего еще не случилось... А значит, случиться еще — может.

— В сущности, вся природа наполнена бесчисленным множеством самых разнообразных вызовов — и все они находятся в потенциальной возможности. Совершенно любые, с каким угодно содержанием, с любой сложностью, структурной организацией или масштабом. Все, что нужно Природе — подготовить агента-инициатора, который бы выбрал для себя тот или иной вызов и принялся за его разработку, в результате которой хрупкое равновесие системы может быть поднято на новый уровень. Амеба, пытающаяся выжить, действует внутри своего микроскопического вызова. Впрочем, для нее он огромен, для нее это — глобальный challenge. Лабораторная обезьяна, пытающаяся получить банан путем угадывания правильной кнопки на панели экспериментатора, приняла вызов для своих аналитических способностей. Студент, выбирающий дисциплину для изучения, обыватель, занимающийся не менее сложной — для себя — задачей выбора продуктов в винно-водочном отделе магазина или сериала из вечерней телепрограммы — все они заняты типовыми задачами внутри своих локальных пространств вызовов. И все мы, в том числе и я с тобой, также выбираем свой challenge или, если хочешь, создаем его сами, поскольку до нашего экзистенциального выбора он существует лишь в потенциале... Много лет назад, вместо того, чтобы

ходить на футбол, ты решил посвятить свободное время звездному газу туманностей, а твой друг Вайнгартен — ревертазе онкорнавирусов... Это были выборы новых вызовов из пространства, доступного вам. Созданного вами.

— И Захар, и Снеговой... — вполголоса произнес я, потому что перед моими глазами тотчас же встали все лица участников драмы двухлетней давности.

— И все они, и еще много других людей... Кстати, хорошо, что мы коснулись этой темы.

Малянов вопросительно посмотрел на него.

— Никто из нас в те дни не обратил внимания на одно интересное обстоятельство. А между тем оно многое объясняет. Как ты думаешь, было ли случайным то, что каждый из нас оказался проинформирован о том, что среди его знакомых немало тех, кто находится в аналогичной ситуации? Если задуматься об этом факте, начинаешь понимать, что он идет вразрез с тезисом о противодействии, которое Мироздание якобы оказывает нашей деятельности с целью затруднить ее или пресечь на корню. Согласись, сопротивляться любому давлению труднее всего именно тогда, когда ты одинок. Когда о твоей борьбе вообще никто не знает. И когда ты своей проблемой даже поделиться ни с кем не в состоянии.

Малянов кивнул, вспоминая слова Глухова, сказанные им при последней их встрече на лестнице, и ответил, невольно отводя глаза в сторону:

— Да, в одиночку человеку проще капитулировать. Намного проще. Ты прав, Фил. Но тогда очень странно...

— Странно, что была затрачена явно целевая энергия на то, чтобы мы как-то могли узнать друг о друге и скоординировать наши действия?

— Да.

— Это было одно из решающих соображений, которые заставили меня отказаться от идеи гомеостатического Мироздания. Все это невозможно объяснить в концепции защищающейся Природы или даже избыточной силы реагирования. Здесь явно прослеживается определенная цель...

— Цель? — тут же переспросил Малянов. — Но не ты ли утверждал, что интенциональный подход здесь неприемлем?

— А никто о нем не говорит. "Цель" здесь — не более чем точка схождения силовых векторов. Радиант наоборот, если хочешь. Как и раньше, любую телеологию я категорически отвергаю. Тем более — проявление какой-либо персонифицированной воли. Когда ты, передвигая шкаф, сталкиваешься с проявлением третьего закона Ньютона, ты же не считаешь, что природа поставила своей целью воспрепятствовать твоему желанию окомфортить свое обиталище? А если бы этот закон проявлялся в ином направлении, разве это стало бы поводом полагать, что за ним стоит некто, пытающийся тебе помочь?

Пока Малянов размышлял над этими словами, Вечеровский затянулся трубкой, сделал "пф-пф" и продолжил с той же веселой интонацией:

— К сожалению, два года назад все мы находились не в том состоянии, чтобы хладнокровно проанализировать ситуацию. И это позор для нас, как людей науки, потому что мы вели себя как испуганные животные, застигнутые грозой посреди открытого луга. Тем более что, как ты помнишь, фактически никто из нас не пострадал. Кроме тех, кто решил, что выход — в том, чтобы броситься с обрыва.

Рыжие брови Вечеровского сдвинулись, собрав на выпуклом лбу две вертикальные складки, губы сжались, но в глазах осталась все та же усмешка на фоне презрительного спокойствия. Очевидно, он даже не считал необходимым притворяться, что сочувствует Снеговому.

— Это происходит везде, постоянно, повсюду и со всеми. Это происходило на протяжении всего времени существования нашей цивилизации. И даже до нее. В основной своей массе человечество живет в пространстве давно освоенных вызовов, сформированном задачами удовлетворения привычных человеческих потребностей или их производных. Но периодически возникают такие вызовы, которые требуют от нас нечеловеческих реакций. Под нечеловеческими я, разумеется, имею в виду реакции, выходящие за рамки этологических паттернов приспособляющегося социального животного, озабоченного тем, как обустроить берлогу, обзавестись в ней потомством и обеспечить ему будущее путем накопления тех или иных ресурсов...

Тут Малянов поймал себя на мысли об Ирке, спящей за стеной, о Бобке в детской — но вдруг с каким-то удивительным равнодушием ощутил, что они страшно далеки от него, от этой кухни, от того, что происходит сейчас с ним самим. И, возможно даже — от всего того, что происходило с ним и было для него важным всегда.

— В общем, когда не паникуешь, становится очевидно, что все эти удары направлены не на уничтожение человека или причинение ему физического урона, но исключительно на разрушение его привычного уклада жизни, образа действий, поведенческого шаблона, системы ценностей, наконец. Более того — эти угрозы осуществляются таким образом, который непосредственно не способен разрушать сами эти институты, ограничиваясь преимущественно символической формой...

— А как же идиосинкразия Глухова? — усомнился Малянов.

— Из всех нас Глухов столкнулся с самым простым препятствием. Ему даже не пришлось делать какого-либо морального выбора, он всего лишь подчинился естеству, физиологии. Его случай до того примитивен, что ему можно позавидовать — как ты помнишь, его идиосинкразия распространялась исключительно на занятия узкоспециализированными вопросами, а во всем остальном он оставался абсолютно здоровым человеком. Пожалуй, даже слишком здоровым... или слишком человеком. Как я уже говорил раньше, сама по себе ассоциированная с экстр-вызовом предметная область не имеет значения, вторична. Глухов мог бы заняться причинами этого явления, анализировать его связи со своей работой, тем более, что он уже тогда догадывался о многом из того, о чем я тебе сейчас рассказываю. Но он впал в панику и предпочел трусливо дистанцироваться от всего, что связано с его головной болью — в прямом и переносном смысле этого слова. Говоря формальным языком: агент понял, что такой уровень вызовов не для него, и вернулся к привычному масштабу активности, где вызовы шаблонны, а феноменология не выходит за пределы норм и распространенных правил поведения. Можешь считать, что ему случайно попался слишком твердый орешек — и он его поспешил выплюнуть, чтобы уберечь свои зубы... после чего ограничил свой рацион манной кашей. И даже стал, как ты помнишь, проповедовать своего рода гносеологическое вегетарианство, если это можно так назвать.

Малянов еле слышно произнес, с трудом преодолевая ком в горле:

— На манную кашу перешел не только он...

Ему очень хотелось бы, чтобы Фил ответил: "Ну что ты, Дима, ты — совсем другой случай...", но он прекрасно понимал, что подобные сантименты — не из репертуара Вечеровского.

— Да, ты тоже. Как и подавляющее большинство всех тех, кому довелось с этим столкнуться. Наша группа собрала достаточную статистику. Инстинкт самосохранения животного, инстинкт заботы о своем потомстве, импринтингом внедренные ценности социализации — всё это инструменты естественного механизма реагирования, являющиеся нормой для живого существа и предполагающие такие же нормальные вызовы, также сформированные в пространстве инстинктивных потребностей. Дима, как я говорил в самом начале — мы сильно ошиблись в трактовке исходных предпосылок.

Единственная противодействующая сила, направленная на то, чтобы ничего не менять в существующем порядке вещей, ограничившись его упрощением и консервацией, представлена в нас самих, в человеке, который главными своими задачами считает: благоденствие, выживание, сохранение своего рода, вида и так далее. Помнишь, как у Довлатова: "Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо". К сожалению, эту характеристику можно применить не только к ограниченной социальной группе... Мироздание отнюдь не пытается сохранить свою структуру. Как раз наоборот — его принципиальное устройство предполагает бесконечный потенциал её усложнения. И рано или поздно те агенты, которые действуют в пространстве этого потенциала, сталкиваются с возможностью его использовать. Так появилась жизнь, так она эволюционировала — в страхе и самосожалении жертвуя собой ради того, чтобы брать приступом всё новые экзистенциальные вызовы. Так возник Разум, чтобы подхватить эту эстафету... И на каждом этапе всем агентам хотелось сделать любой взятый рубеж — последним. Потому что животному нужно крайне мало, настолько мало, что его цели можно определить как прямо противоположные целям природы, ведь любой живой организм лучше всего ощущает себя в условиях стабильности и повторяемости реакций. Новизна вызовов — не комплементарна тезису спокойной и счастливой жизни. Впрочем, ты это знаешь не хуже меня.

Малянов кивнул, ощущая, как краснеет его лицо.

— А что касается конкретики той или иной предметной области, которую этот экстра-вызов использует как базовую основу — это второстепенные частности. Среди членов нашей группы есть художники, писатели, даже резчики по дереву — всем им пришлось столкнуться с тем же самым. Мы совершили ошибку, посчитав свои научные исследования чем-то, что представляет непосредственную угрозу для Мироздания. Хотя винить нас за это нельзя — наш круг был слишком узким и выборка получилась нерепрезентативной. Твои успехи в разработке теории диффузных туманностей, открытие, сделанное Вайнгартеном в ходе анализа ревертазы, захаровская идея с федингами — это не более чем сигналы, возмущения в системе, свидетельствующие о том, что инициировавший их агент способен на более серьезный уровень вовлечения в процессы самоусложнения Мироздания, чем обычно наблюдается среди ему подобных. В качестве ответной реакции от Мироздания такому агенту поступает набор условий, новые данные, новый масштаб явлений, предоставляющих огромный спектр для работы в совершенно новом направлении и — что еще более важно! — в качественно новом формате. И тогда случается главный экзамен, как ты тогда верно сказал... хотя никто из нас тогда не знал, на каком столе лежат билеты с вопросами, а на каком — развлекательная макулатура для празднующихся.

Вечеровский, казалось, только сейчас заметил, что Малянов последние минуты сидит с прижатыми к лицу ладонями. Он замолчал и какое-то время смотрел на Малянова с новым для себя выражением, а затем негромко добавил:

— Выбрав диетический рацион, рано или поздноловишь себя на ощущении оскомины. Я прав, Дима?

Малянов отнял ладони от лица и кивнул, ощущая острую потребность рассказать о том, что он чувствовал все эти годы. Но еще не успев начать, он уже понимал, что в этом нет нужды, что Фил все знает, что он, конечно же, знал это два года назад, когда стоял в обгорелом костюме посреди обугленной, испещренной пропалинами прихожей и принимал из рук Малянова папку с "М-полостями".

Малянов запнулся, и неожиданно для самого себя тихо спросил:

— Фил, а за что тогда они тебя лупили, в таком случае? Ты же был близок к тому, чтобы расставить все точки над i...

— На самом деле непосредственно меня, как и любого из вас, никто не лупил. Вспомни, что за исключением запаниковавшего Снегового ни одной жертвы не было. Даже физического повреждения никому не было нанесено — вся игра проходила на нервах, на воображении, на нашей производной от событий, на наших моделях реальности. Кстати, угадай, что стало последней каплей для Вайнгартена?

Малянова задумался и почти сразу его осенило:

— Неужели то самое дерево? — и он впервые рассмеялся, с огромным облегчением, природу которого до конца еще не осознавал.

— Оно самое! — подтвердил Вечеровский. — Видимо, для него, как биолога, это оказалось самым абсурдным, самым неприемлемым для всех его представлений. Более абсурдным, чем завистливая сверхцивилизация. Это, конечно же, сразу выбило фундамент из-под ног позитивиста.

Отсмеявшись, Малянов вспомнил захаровского странного мальчика и сказал:

— Фил, а ты заходил к кому-нибудь еще? Был у Вальки?

Вечеровский наклонил голову, с улыбкой глядя на Малянова, и начал:

— Дима... пф-пф... ты все еще никак не можешь... — но затем, не закончив фразу, вынул изо рта трубку и ткнул ею в направлении Малянова. — Помнишь у меня "Вероломство образов"?

Конечно, Малянов помнил эту репродукцию картины Рене Магритта, висевшую у Вечеровского в гостиной.

— Отлично, — и Вечеровский постучал своей дымящейся трубкой по столу. — Это — не трубка. И это — не кухня. Я не приходил к тебе, это ты вышел ко мне, — он сделал паузу, вдвое меньшую требующейся для того, чтобы до Малянова дошел весь смысл этих слов, и продолжил: — Однако твой вопрос не лишен смысла, и я могу на него ответить. Я пытался связаться с ним. Мне это не удалось.

— Но он же здесь, в городе!

Вечеровский покачал головой:

— С тобой встреча оказалась возможной. С Вайнгартеном или Захаром — нет. И это не от меня зависит.

Малянов начал понимать.

— То есть, они...

— То есть они не пошли дальше, потому что эта дорога была не для них. Бывает и такое. Как ты, наверное, уже понимаешь, если бы Валя или Захар попробовали бы позже вернуться к своим темам — у них бы все пошло без проблем. И свои работы каждый из них смог бы завершить в спокойствии и безопасности. Но они были настолько уверены в той версии, которую я вам тогда преподнес, что категорически вычеркнули из сферы своих интересов все, что находилось вне пространства обывательской мотивации, и в первую очередь — те направления, которые представляли угрозу для их привычного жизненного уклада. Я их ни в чем не обвиняю и считаю их выбор — для них самих — абсолютно правильным. Потому что после его совершения они комфортно себя чувствуют.

"А я? — подумал Малянов, глядя, как длинные пальцы Вечеровского вращают мундштук трубки. — Почему я не могу смириться со своим выбором, почему мне совершенно некомфортно в этом комфорте? Неужели только оттого, что мне жалко самого себя и той работы, которую я продал за чечевичную похлебку спокойной жизни типичного члена социума, чья максимальная планка вызовов ограничивается заботой о семье и собственном благополучии?"

— Ты — нет. Это не делает тебя ни лучше, ни хуже них, это всего лишь означает, что тебе можно и нужно работать дальше. Если хочешь — можешь работать над своими диффузными туманностями. Хотя, мне кажется, ты не стал бы ждать этого разговора и уже вернулся бы к ним сам — если бы не ощущал, что тебя занимают другие, более глубокие вопросы... Я прав?

Малянов внезапно ощутил внутри себя какое-то давно забытое чувство, с которым он, как ему казалось, окончательно распрощался несколько лет назад.

— Если так, как ты говоришь.... — выдохнул он, впервые за столько времени смело отвечая на взгляд Вечеровского, — то что же дальше?

Помолчав с полминуты, Вечеровский подвел итог изучению лица Малянова:

— Все, что сочтешь достойным своих усилий. Без оглядки на то, что раньше казалось важным или нужным. Мироздание — открытая система, дающая тебе тем большую свободу, чем оригинальнее вызов ты в нее привносишь. Или создаешь — это в данном случае синонимы. Помни, что любые ролевые ограничения связывают тебя по рукам и ногам, ограничивая тебя выбором из шаблонов, клише, замыкая тебя в рутине. Если не ставить перед собой несуществующие задачи, занимаясь решением тех, которые существовали до тебя, без тебя и будут существовать после — у тебя никогда не будет свободы, ты будешь вынужден выбирать...

— Возможность выбрать тоже не у каждого имеется! Ты на это, конечно, ответишь, что Диогену и пифоса было достаточно. Но не все же могут быть такими стойками, как ты. Да и что бы он запел на нашем месте? Какая может быть свобода — в Башне?

— Никакой. Для тебя. Как и вне её.

— Это почему же?

— Потому что все твои жалобы на несвободу, душка Публий, бывают двух видов: если ты не скулишь на тему своей ограниченности в пространстве, то обязательно исходишь печалью об уходящем времени. Подобно всем плебеям, места тебе начинает не хватать, лишь когда тебе свой хер некуда присунуть. А времени вам всем жалко постоянно, потому что "молодость уходит". И этим набором стимулов, данным вам вашей натурой, все ваши мотивы исчерпываются. Ты раб конечных форм, Публий. Раб и эгоист. Для тебя свобода — это возможность шляться по лупанариям Рима, торчать на тотализаторе Большого Цирка или в когорте таких же плебеев, бряцая доспехами, расширять Империю. Чтобы потом в Ливии да Галлии по тавернам сестерциями разбрасываться.

— Ну и что? Я, между прочим, в лимитрофах не ради себя самого торчал — у меня семья на шее! Чем это хуже государственной лямки? В конце концов, это мой собственный выбор. Если это не свобода, то что же тогда?

— Свободы в этом столько же, сколько в посещениях латрины. По нужде. А скорее даже — еще меньше. Потому что все это — бихевиоризм и примитив: у тебя возникла потребность, ты ее вынужден удовлетворять. Пока ты ощущаешь, что тебе чего-то не хватает, ты уже — служишь. Ты уже не свободен. В сущности — раб данности, раб своей роли выживающего животного. Сюда же относится и твоя забота о детишках: "мне нужно завести семью и содержать ее", о тушке своей и о душе своей: "mens sana in corpore sano". И о карьере, включая твое легионерское прошлое. Все это — от животного. Во всей этой деятельности тебе не принадлежит ни один пункт, ты не создал ни одну из своих целей. Да они и не твои, это ты — их раб. Все, что тебе доступно — это выбор между тем, как их достигать.

— Пусть так. Но ведь вся жизнь вокруг только так и существует, других целей у нее нет. Однако дальше-то я сам выбираю, как мне удовлетворять все эти потребности! В этом и должна быть моя свобода — да чего там — не только моя, каждого человека! Какой еще свободы можно хотеть?

— Пойми, Публий, выбор — это не свобода. Выбор — это уже рамки. Какая свобода у коровы на лугу? Выбор между клевером и люцерной? Итог ведь все равно один: на мясокомбинат. Ну, если дойная, перед этим ее сперва несколько лет за вымя подергают. А потом — туда же, под нож. Как и быка, который "свободно" выбирал между буренкой и пеструшкой.

— Я больше блондинок предпочитаю. Эх, как вспомню сейчас... в Лептис Магне...

— Один хрен. Разницы нет, Публий. Ни между коровами и гетерами, ни между свободой скота на ферме и твоей собственной. Точнее тем, что ты под этим словом подразумеваешь.

— Как ни называй, а пока я в Башню не попал, я жил, как хотел. В полную силу. А что я могу здесь? Жрать, спать, да с тобой лясы точить?..

— Всё твоё “в полную силу” сводилось, в сущности, к тому же самому. И не потому, что ты театрам предпочитал лупанарии, а философам — общество гетер и посещения разных стран (кстати, это одно и то же). Ты ведь ценишь не то, что даёт подлинную свободу, а то, что приносит “больше ощущений”, “больше жизни”... О чём с тобой после этого говорить?

— Именно так, Туллий! Потому что жизнь и есть высшая ценность. А свобода — в возможности эту ценность реализовывать так, как считаешь нужным. Как я могу тут реализовать себя? Время идет, а в камере этой — не жизнь, а существование...

— Ну и какой ты римлянин после этого?! Ты — животное, которое скулит о том, что ему мешают служить своим инстинктам, выполнять свою генетическую программу: “дайте мне простор и общество, тварь я социальная и право имею!” Высшая ценность... Истеричка. Ты же вещаешь, как обиженный гуманист, который знает лишь один мотив — жалость к себе. Причем ты не можешь просто так жалеть одного себя, вы, гуманисты, слишком цивилизованы для этого, вам обязательно нужно поднять это чувство на пьедестал, абсолютизировать его, доводя его статус до уровня всеобщей истерии, превращая банальное животное ощущение в пафосную идею сочувствия ко всему человекоподобному или “человеколюбие”. А на самом деле вся эта ваша любовь — старая рабская потребность в поклонении, нужда в хозяине, владельце, в чем-то, что могло бы оправдать вашу собственную ничтожность. Вы же не можете без религии, без поводка, без привязанности, без тотема. То, что для отсталых христиан — распятый божок, для гуманистов — человеческая натура и все те потребности, которые из нее следуют. Потому что без них вы — никто. И ничто.

— Животное может быть и ничто, не спорю. Вон, канарейка в клетке — тупая тварь. Сколько уже сидит с нами — хоть бы чирикнула от тоски. Только просо жрать может. Но я-то не хрен собачий! Я — человек, Туллий! Когито — это, как его — эрго сум. Я же осознаю свою несвободу... даже если там одни инстинкты. Все равно их подавлять нельзя. Жизнь — она простора требует!

— В том и дело, что осознаешь ты — не отсутствие свободы, а жалость к себе из-за невозможности эти инстинкты удовлетворить. Потому что когда у тебя все они реализованы, тебе больше никакой иной свободы не хочется. Ну, разве что снова их растеребить, потребности свои... Чтобы опять — за трапезу, на гетеру, “в пампасы!” эт цетера.

— А что в этом плохого?

— А где я сказал, что это плохо? Но какое отношение это имеет к свободе? Тебе не свободы хочется, а расширения клетки. Однако все равно — клетки. Потому что без нее ты себя не представляешь. Если б канарейка сейчас своей клетки лишилась, она бы на пол шмякнулась. Эти прутья ей не только стены, но и пол создают. Экзистенциальную, так сказать, базу. Жердочку, на которой она дрыхнет, держат. Кормилку-поилку ее фундаментальят. Куда она без всего этого? Даже если ей дверцу отворить и на волю выпустить — для неё ведь ровным счётом ничего не изменится, потому что потребность в клетке у нее не исчезнет. В этом смысле тесная клетка тем и хороша, что не создает иллюзии свободы. Поэтому, если бы у птички мозги были, она бы благодарила тех, кто её туда запихнул.

— Нету у них мозгов. Оттого, может, и поют красиво, когда волю им дашь...

— Еще бы... Впрочем, она хоть летать умеет. А ты, Публий? Ты-то куда полетишь, если тебя твоей клетки лишить? И главное — на чем? На хере своем, как на пропеллере? Полагаешь, он тебя вознесет к вершине пирамиды на тяге сублимации?

Пауза.

— Да уж лучше — вниз, чем так пропадать...

— Вот-вот, я и говорю: жалость к себе. Давай-давай — хлещи её стаканами... Животное.

Гуманист.

— Как только вспомню, что я в этой Башне всю вечность обречен торчать...

— Опять ты за своё?! Ты издеваешься, Публий!

— Что такое?

— Вечность-то тебе что плохого сделала?! Какого ты её сюда приплел? Ты же её воспринимаешь — как потребитель. Плебей-консуматор. А туда же — "я и вечность!", "бесконечность и мое эго!"... У вас, рабов, врожденная слабость к словам, смысла которых вы не понимаете. Или — боитесь. Что, в сущности, то же самое. Единственное, чего вам хочется — это подчинить своей ограниченной природе все трансцендентное. Чтобы таким манером восторжествовать над ним. Отсюда же — мечта всей вашей гуманистской братии о вечной жизни... Наверное, это у вас какая-то гиперкомпенсация комплекса собственного ничтожества — через претензию на абсолют: "кто был никем, тот станет всем...". Еще бы! Нет большего кошмара, чем ужас живого от сознания собственной конечности.

— Ну да, ты-то, конечно, выше этого.

— Настоящий римлянин обязан быть выше. А по этому вашему страху, как по шибболету, безошибочно определяешь самовлюбленного раба физиологии, который был и остается банальным приматом. Все эти попытки сопоставить себя и вечность характерны именно для таких рабов, которые панически боятся нового и не представляют, как это "завтра быть не тем, кем вчера" или, тем более, "завтра вообще не быть". Их идеал — остановить время, зафиксировать процессы на том, что уже случилось, а еще лучше — немного откатить вспять, потому что каждый из них представляет собой существо, приспособившееся к среде, которая была прежде. Окружение меняется постоянно, адаптация неизбежно запаздывает, потому что она — не более чем ответ на вызов обстоятельств. И поэтому рабы всю свою жизнь обречены находиться в перманентном сожалении об "утраченном рае, бывшем ранее". Скулеж о прошедшей молодости — того же рода. Нет более чудовищной и антитетичной самой природе идеи, чем *idée fixe* вечной обезьяны. Тем более — вечно молодой обезьяны. Пожалуй, хуже и примитивнее варваров только христиане со своими тезисами "грехопадения" и "возвращения в потерянный рай".

— Это уже не просто мизантропия, это какая-то мизанимия... А впрочем, любой киник, когда он последователен, рано или поздно кончает этим. Так ведь, Туллий?

— Осторожнее со словами, душка Публий! О твою тавтологию можно себе ноги сломать, пока до смысла сказанного доберешься. Любой последовательно рассуждающий будет киником. Всегда. Твоя беда в том, что ты этой последовательности боишься, как огня. Первый шаг сделал, а когда видишь то, что ожидает на втором — поворачиваешь обратно. Потому что думаешь, что это — конец. В то время как я тебе пытаюсь донести мысль, что это — начало. Хотя — перед кем я распинаюсь? — ты же варвар и биофил.

— Хватит уже! Я гражданин Рима, как и ты!

— Да какой ты римлянин, если ты жизнью восторгаешься, как двадцатилетняя девица? Что ты вообще о ней знаешь? В том числе — о смерти. Что, в принципе...

— ... то же самое?

— Именно так. Хотя на самом деле опыта смерти у каждого из нас куда больше, чем опыта жизни. Последнего, скорее всего, вообще быть не может, поскольку для него потребовалось бы, чтобы существовал некий "континуальный Публий". А вот его-то как раз и не имеется.

— Как это так? Я себя помню, значит я есть.

— Кто это сказал? Ты, Публий, умираешь сотни раз в течение каждой секунды, в каждый следующий миг это твоё "Я" заменяется другим, и для связи между ними у тебя есть лишь то, что ты считаешь "своей" памятью. Чья единственная функция — передать фрагменты старой модели реальности в качестве строительных кирпичей для следующей, облегчая её построение. Как только она оказывается готова, в ней на мгновение возникает нарратор, отмечающийся как твое бесценное "Я". Вот и весь "ты", душка Публий, вся твоя картина мира. То, что в семантике этой картины присутствует виртуальная единица Эго — не более чем конвенция, принятая для облегчения позиционирования, поскольку твоя модель изначально основана на противопоставлении "выживающего существа" — "окружающей среде". Вне этой модели нет никакого твоего "Я", не существует никакого Публия. Даже конец этой моей фразы дослушает уже не тот Публий, который был в ее начале. Каждый такой ты триллионы раз за сутки появится и тут же безвозвратно исчезнет, незаметно подменяясь следующим ad hoc. Причем замечать эту подмену — некому и незачем. И так до самого последнего кадра, который никто не заменит и не продолжит. Все то, что ты называешь жизнью — это вереница смертей, слепленных лакунами маразма и слепоты. И высшая цель твоего любимого гуманизма — довести этот маразм до абсолюта.

— Всяко лучше, чем наоборот. Пока я ощущаю себя континуальным и материальным, я такой и есть. И при прочих равных всегда предпочту вечную жизнь вечной смерти.

— Это совершенно одно и то же. Тебе, биофилу, не понять, что разницы между ними нет. Впрочем, не тебе одному. Знаешь Сеяна Буланого в нашем Сенате — вот он как раз идею вечной жизни лоббирует. Её примитивизм как раз по уровню интеллекта племенного жеребца.

— Сеян? Я думал, он партию зеленых представляет... Ну там — за права животных и прочая чепуха. Чтоб свиней не резали, овец не стригли и яйца у кур не отбирали.

— И это тоже. Одно вытекает из другого. Гуманизм — из прав животных. Равно как и наоборот. Вообще, один раз его послушать можно, тебе бы точно понравилось. Прямо как ты: "Про-огре-есс челове-ечества-а! Ого-го! Ве-ечная жи-изнь! Иго-го! Тра-ансгумани-изм!" — и подковой — об трибуну! Очень впечатляюще. Под его напором Сенат уже дважды увеличивал ассигнования Имперской Академии Наук на изучение клеточного апоптоза... Это еще раз доказывает, что животное — лучший адвокат человека. Даже если это кастрированный Сеян.

— Что?! Когда успели? Его же в Сенат ввели вполне себе боевым жеребцом...

— Уже не вполне. Официально — после того, как сенаторши пожаловались на то, что он их своей статью от государственных дум отвлекает. А на самом деле, просто наш Тиберий конкуренции не потерпел. "Подрыв авторитета императора!" Принцепса — на ковер! А наутро Сеяна — к коновалу... Говорят, все бабы Сената три дня в трауре ходили.

— Жаль... симпатичный жеребец был. Было на что посмотреть, когда в президиуме гарцевал.

— Не переживай за него. Знаешь, что Сеян заявил, когда от коновала вернулся? Как настоящий сенатор, выразил благодарность императору за гуманное решение проблемы. Спасибо, говорит, нашему Тиберию. Теперь, говорит, все силы — только на службу государству!

— А что Тиберию мешало Сеяна обратно на конюшню отправить?

— Нельзя! Принцип равного представительства в Сенате — все социальные слои империи должны иметь своих депутатов. Я удивляюсь не тому, что Сеян копытами мозаику в вестибюлях крушит, а тому, что он там один такой.

— Возможно, остальные просто не так узнаваемы.

— В Сенате нельзя быть узнаваемым — это мешает голосовать. И Сеян тому лучшее подтверждение. Однако мы отвлеклись.

— Да уж... По мне — так лучше о Сеяне и бабах сенатских, чем эти твои циничные *memento mori*... Вся твоя философия, Туллий, построена на отрицании жизни, словно в ней ничего хорошего вообще нет. Да ты оглянись вокруг!.. То есть, я хотел сказать — вспомни. Птички на лугу слух ублажают. Пейзажи глаз радуют — особенно, когда на чужбине... Вино хорошее в бокале. Бабы, опять же, в туниках. А еще лучше — без. Не станешь ведь отрицать? А кому всего этого мало — может с философами поспорить. Как вот я с тобой, например. Признайся, Туллий, быть живым — хорошо!

— Опять тавтология.

— Оставим в покое красоту слога. Ведь даже тебе нечего возразить против подхода: “живи сам и дай жить другим”. Какой — какой — какой свободы тебе еще надо?! Полюби жизнь и человека, каким он есть, вместо того, чтобы называть его животным.

— Даже если человек и есть — животное?

— Тем более, если он и есть животное! Человеколюбию предлог не нужен.

— Только инстинкт, Публий, не нуждается в предлоге или обосновании. А эти твои призывы — бабья сентиментальность и лирика гуманистов, потому что — от живота. И ниже. Дремучее христианство в картонной обертке эпохи Просвещения: “плодитесь и размножайтесь — рай на земле достигим”. А суть-то не изменилась, ибо сама основа любой жизни свободе — противоречит! Потому что вся активность животного — вынужденная. Вне давления своих потребностей оно ко всем своим соплеменникам абсолютно равнодушно. Равно как и к себе самому. Все, что у него есть — его жалкий набор потребностей, удовлетворение которых он называет жизнью. И страх этой зависимости лишиться. Презирать эти потребности, которые дают ему стимул к действиям, глупо. Но еще глупее воспевать им дифирамбы, как это делаете вы. На самом деле, превознося жизнь, вы не утверждаете себя, а расписываетесь в своем ничтожестве. Нельзя, душка Публий, ограничивать себя данностью, сущим. Самая пошлая прагматика — это когда выбирают из того, что уже есть, или из того, что уместно.

— Не всем же быть творцами-созидателями. Что ты предлагаешь — эскапизм? Уход в мечту? Это уже банальность, Туллий.

— Опять ты упрощаешь. Ни о чем подобном я тебе не говорил. Практически всё так называемое творчество, включая творчество интеллектуальное, замыкается на том же самом — лейтмотивом всегда выступает жалость к своей животной натуре. Плюс — хороводы вокруг ментальных производных от этой жалости. Никаких отличий от скулежа голодного пса или криков бабуина перед случкой — те же яйца, только в профиль. Да ты сам посмотри! Стоит какому-нибудь гуманисту изложить элегическим стилем свои переживания от того, что какая-то самка ему дала или не дала (что, кстати, одно и то же) — вот тебе и поэзия! Стоит ему в пафосных метафорах и обобщениях выразить тот животный страх, который любое приспособляющееся животное испытывает перед неизвестным — вот уже и религия! А то и целая философия.

— Побью тебя твоим же оружием: в таком случае твой скептицизм — это всего лишь зависть к тем, кто — просто живет, удачно живет и доволен этим фактом.

Пауза.

— Хм... вот, значит, как ты это видишь... А знаешь, Публий, я соглашусь. Потому что всегда завидовал тому, кто искренно полагает себя свободным и разумным, однако существует при этом исключительно в парадигме млекопитающей скотины.

— Груб ты, Туллий. Одно слово — циник.

— А ты — гуманист.

— Почему это я гуманист? Чего ты лаешься?

— Раб, начитавшийся пропагандистов Возрождения, неизбежно будет гуманистом. Что ты можешь знать о свободе, пока ты весь, как в дерьме, погряз в своих сантиментах: баба, дети, семья, здоровье? "Ах, меня лишили свободы строить хибару, рожать наследника и растить осину! Ах, я несчастный, куда я теперь без этого!" Ограниченный эгоист, утопающий в жалости к себе. К своей роли животного. Гуманист. Хуже таких, как вы — только христиане. Но те хоть заранее признают, что никакой свободы им не требуется — она им противна, поскольку у них другие кнуты и пряники: вечный страх наказания себя и надежда увидеть наказанными всех других. Типично рабская вилка ценностей.

— Ну, это неудивительно, учитывая инициатора этой религии. И ее целевую аудиторию.

— Не могу не согласиться. Между прочим, единственная ошибка римлян состояла в том, что они этого бомжа распяли прилюдно. Во все времена плебс создавал себе кумиров из героев подобных шоу. Любому массовому психозу нужна лишь точка кристаллизации, все прочее — дело техники и времени... Кстати, меня давно интересует: если бы его не к кресту пригвоздили, а сгноили бы в урановых рудниках — как полагаешь, носили бы сейчас эти идиоты на своих шеях изотопы Урана-235?

— Урановые рудники позже появились. А то бы, конечно, сослали. И — носили.

Пауза.

— Знаешь, Публий, по-моему, зря они в Сенат Буланого ввели — он своими подковами только паркет там портит. Вместо него и всех этих патрициев нужно было ободранных петухов по местам рассадить. Репрезентативнее. Помнишь, как тот писака из Древних Афин гомо сапиенса определил: двуногое без перьев. А этот из пифоса ему, значит, в ответ — петуха ощипанного: держи своего человека!

— Тоже циник, кстати.

— Киник. Не одно и то же.

Пауза.

— Туллий, а когда это забота о детишках эгоизмом стала? Да и с бабами тоже... Я ведь, когда на девице, не только для себя стараюсь. Тем более — под ней. А что касается здоровья, образования, карьеры и всего прочего — как же иначе семью обеспечивать?

— Все это — клише, Публий. Паттерны млекопитающего. Которые в итоге — или на твоём роде, или на тебе самом сходятся. На инстинктах твоих, на физиологии твоей и морфологии. Да любая шелудивая сучка, которая у Большой Клоаки крыс ловит, занимается тем же самым! И о свободе не скулит лишь потому, что вся её свобода этим исчерпывается. Как и твоя.

— Моя свобода — это свобода выбора! А какой выбор у меня здесь? Какой?!

— Выбор — это всего лишь выбор, Публий. Никакого отношения к свободе он не имел и иметь не может. Ты вот выбираешь сейчас, что тебе делать: в ванне с газетой полежать, птичку в клетке подразнить или мне тут истерики закатывать. Чем этот твой выбор хуже?

— Много хуже! Тут я выбираю — от безысходности! А там...

— Плебей... А там ты выбирал от чего? Ты себя самого вспомни: или легионером в Сарматия — Империю расширять, или в Большой Цирк — азарт свой теревить, или в лупанарий — гондурас. Ну, еще на службу — если повезет устроиться. Потомство свое выкармливать.

— Так это и есть свобода! Или ты хочешь сказать, что она — в том, чтобы торчать в этой Башне и тоску на себя нагонять?.. Эй, зачем тебе телефон? Куда ты?..

— Алло. Господин Претор. Это Туллий из 1750-го. У меня в камере гуманист. Да. Постоянно скулит о свободе, не имея о ней ни малейшего понятия. Что хочу? Хочу узнать — это издевательство входит в условия моего заключения?.. Что? Ах, вот как!

Пауза.

— Что он сказал?

— Говорит: "Отсутствие представления о свободе не избавляет от Башни. Как и избыток оного".

Сука.

— Что ты от него хочешь — он на службе... Как и Сеян.

— То есть — на свободе?

Пауза.

— Туллий, ты мне напоминаешь одного эстета, которого я однажды наблюдал на нашей галере.

Хочешь послушать?

— Любопытно.

— Так вот. Переплавлялась как-то наша когорта из Ливии. Ну, все как всегда: галера, рабы веслами орудуют. Над ними — надсмотрщики. Стимулируют гребцов, чтобы те не ленились... В общем — nihil novi, скукота. Так вот. Целый день рабы эти, значит, гребли, а вечером им разрешали в трюм спускаться — на отдых. Ну и там рабы эти, перед тем как спать завалиться, жевали свою солонину и рассуждали промеж собой "за жизнь". Почти как мы с тобой. Так вот — обсуждали они преимущественно две вещи: то, как их отвратно кормят, и то, как нещадно их лупцует безжалостная солдатня. Однако ни один из них не высказывал и тени сомнения в том, что грести необходимо! Потому что все понимали, что иначе никому из нас суши не видать — галера потонет и все на дно пойдут.

— Дальше.

— Конечно, каждый из них хотел из рабов-гребцов выбиться в надсмотрщики или в рулевые, а в идеале — вообще стать пассажиром. Ну, тут тоже ничего нового: плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом... и тот раб, который не желает стать хозяином. Но был там среди них один чахоточный эстет... Впрочем, возможно, он только симулировал чахотку или притворялся эстетом — этого уже никто не узнает... Так вот — этот тип поносил галеру последними словами, утверждая, что все пlyingшие на ней находятся в одинаковом положении и что, кроме как рабов, на судне вообще никого не может быть. Он постоянно гундосил на тему того, что пассажиры галеры — от надсмотрщика до владельца, живут ничуть не лучше, лишь жратву имеют почище, да дерьма в своих каютах поменьше. Но сама галера для всех — та же самая. И это его, похоже, бесило куда больше, чем остальных — условия их существования... В общем, однажды ночью спихнули его за борт, бо нытье его всех достало. И я считаю, правильно сделали. Потому что *navigare necesse est*, как ты, должно быть, помнишь.

Пауза.

— Великолепно, Публий! Даже не ожидал... Отличный сюжет. В нем все — от первого до последнего штриха — бесценно. Твоя история слишком хороша, чтобы не быть плодом воображения — и в этом ее достоинство, поскольку истина признает только свободный нарратив. Рафинированный. Однако ты даже не догадываешься о том, что в твоей истории самое ценное. То, что ты привел в качестве примера именно галеру с рабами. Именно — рабы! И то, что они так поступают с тем чахоточным — это тоже типично рабская реакция. Я верю в аутентичность твоей истории тем больше,

чем меньше сомневаюсь в том, что она выдумана от начала и до конца. Как я говорил раньше — иногда и тебя, Публий, посещает вдохновение. Да, ты совершенно прав — галера должна плыть. Полностью согласен с тобой, что проповедовать среди рабов любые идеи, которые не входят в сферу их физиологических интересов — бесполезно, глупо и, в конечном итоге, опасно. Ты с исчерпывающей точностью описал пространство их мотиваций — кнут, пряник и лавирование между ними. Если бы Тиберий не очистил галеры от шалашей маркитанток, не сомневаюсь, что ты бы туда включил еще и секс...

— И совершенно напрасно очистил. Никогда не понимал, зачем Тиберий это сделал.

— Отнюдь не напрасно. Советники императора хорошо ему про энергию либидо растолковали: рациональнее её накапливать и выпускать в нерепродуктивных физических упражнениях, нежели растрачивать на бессмысленные фрикции. Когда раб в свободное от своей галеры время пыхтит в спортзале, он — совершая, кстати, почти идентичные движения — приносит обществу намного больше профита. Потому что так он питает целую индустрию, зовущуюся культом здорового тела и включающую в себя: производителей спортивного инвентаря и одежды, тренеров, спортзалы, бассейны, фильмы и многое другое. В то время как, отхарив гетеру, он вложит на два порядка меньше денег в нее саму — и на этом вся польза от эксплуатации его либидо закончится.

— Про спортсменов ты зря. Эстетика красивого тела...

— Все критерии красоты, Публий, сформированы физиологическими потребностями. Красота спасет ферму животных... потому что уродливая скотина нежизнеспособна... Но мы отвлеклись от начальной темы. Вернемся к нашим приматам. Странно, Публий, что ты произнес только часть цитаты. Давай не будем брать на себя смелость кастрировать Плутарха и приведем реплику Помпея полностью: *Navigare necesse est, vivere non est necesse...*

— Я так и знал! Туллий, когда ты не блещешь своими парадоксами, ты становишься предсказуем, как результаты голосования в Сенате за расширение полномочий императора. Я несколько не сомневался, что ты прицепишься к хвосту цитаты. Конечно же, плыть необходимо, а жить — нет. Но это как раз и подразумевают работяги галеры. В отличие от того болтуна, который не может или не хочет этого понять.

— В том-то и дело, Публий, что как раз он — единственный, кто это понимает. Единственный из всех них. Именно поэтому его не останавливает реакция прочих гребцов на его сентенции, не пугает гнев, вызванный адресатом его критики, именно поэтому он — конечно же, догадываясь о последствиях! — раздражает рабов своей философией неприятия тех ценностей, которыми они живут и которыми руководствуются их так называемые хозяева. Он делает это потому, что для него "плыть" — это не служить в вонючей галере. Равно как — в благоухающей. Это не повиноваться хлыстам надсмотрщиков. Равно как — своим инстинктам или социальному долгу, на них же основанному. Это не мечтать о куске солонины, который ему вручат перед отходом ко сну в качестве *equal pay for equal work*. Его потребность освобождения от этого принуждения и жажда поиска настолько велики, что инстинкт самосохранения отступает, превращаясь в ничто. В то время как у всех остальных пассажиров этот инстинкт остается доминантой. Гребут они благодаря ему. Но плывут — вопреки. Хотя им, конечно, кажется иначе — поскольку по-другому они просто не умеют. Еще раз скажу тебе, Публий — твоя история великолепна. Тот самый случай, когда говорят, что хороший текст превосходит своего автора...

Пауза.

— Ладно, Туллий, ты заклеил рабское преклонение перед витальностью, ты развеял страх смерти, ты один знаешь, что такое свобода и с чем её едят... Может быть теперь, гуру, ты откроешь нам глаза и скажешь, что делать всем этим гребцам? Устроить бунт — против естества? Прыгнуть за борт?

— Бунты против естества — такая же глупость, как и призывы "назад к природе". Пускай их устраивают вегетарианцы и прочие религиозные сектанты. Я никогда подобную чушь не проповедовал, и десятки гетер Рима могут это подтвердить. Второй вариант интереснее — в зависимости от того, что ты подразумеваешь под "прыгнуть за борт". Но о нем не будем.

— Позволь угадаю — ты с высоты своего стоицизма предложишь третий выход — презреть реальность и сотворить себе новую? Чего проще, да?

— Во-первых — ни о каком "себе" речь не идет. Подобно всем гуманистам, ты зациклен на своем человеческом "я". Во-вторых, проблемы, имеющие решение — удел плебса. Настоящий римлянин подобной рутинной брезгует. Потому что все выполнимые задачи являются навязанными — тебе, примату, животному. И в силу этого — бессмысленны. Единственный смысл может быть лишь в той задаче, которую ты сам — пойми, без какого-либо принуждения! — себе создал. Это очень непросто, Публий — найти задачу, которую ты абсолютно не обязан решать. Которая тебе, какой ты сейчас есть, ровным счетом ничего не даст. Которая даже скуку твою не развеет, поскольку депривация впечатлений — это такая же примитивная физиология, как и нехватка комбикорма. Чтобы обрести подлинную свободу, тебе придется найти такую задачу, которая лежит вне проблематики выживающего существа. Которая не имеет ровным счетом никакого прагматичного наполнения. Смысл и содержание которой определяются тобой самим, то есть — никем. Потому что создать их можно — только из ничего. Как и свою свободу, душка Публий... Как и свою свободу.

© Валентин Лохоня 2018.04.21

<https://nonnihil.net>

*Использованы характеры и контексты произведений: **"Солярис"** (Станислав Лем), **"За миллиард лет до конца света"** (А.Б. Стругацкие), **"Мрамор"** (И. Бродский). С признательностью и благодарностью к авторам оригиналов.